

Двадцать стихотворений о любви и одна песня отчаяния (1924)

IV

Это утро наполняется бурей,
прорастающей из сердцевины лета.

Ветер колышет странствующими руками
белые облака — как платочки прощанья.

Неисчислимое сердце ветра
бьётся над нашим влюблённым молчаньем.

И гудит в деревьях чудесный оркестр, —
вещий колокол, полный сражений и песен.

Ветер срывает и уносит листву с деревьев,
отклоняет от цели стрелы трепетных птиц.

Ветер свергает её наземь волнами без пены,
веществом невесомым, наклонным огнём.

Терпит крушение и тонет корабль её поцелуев
у входа в гавань — летним ветреным днём.

V

Чтобы ты меня услышала,
мои слова
порой утончаются,
словно чаек следы на прибрежном песке.

Браслет, колокольчик пьяный,
для руки твоей нежной, похожей на виноград.

Слова мои видны вдалеке.
Скорее твои, чем мои.
Старую боль мою они оплетают плющом.

Они взбираются вверх по отсыревшим стенам.
Ты одна виновата в этой кровавой игре.

Они убегают прочь из тёмной моей берлоги.
Всё заполняешь ты. Всё заполняешь ты.

Мой одинокий мир они до тебя населяли,
К грусти моей они привыкли сильнее, чем ты.

Хочу, чтоб они сказали то, что и сам бы сказал я,
чтобы ты им внимала, словно они — это я.

Ветер моей печали их влачит до сих пор.
Ураган сновидений их до сих пор погребает.

В голосе моём скорбном слышны голоса иные.
Кровь старинной мольбы, плач постаревших ртов.

Подруга, люби меня. Не покидай. Останься.
Останься со мной, подруга, на этой печальной волне.

Но уходят мои слова, пропитавшись твоей любовью.
Всё заполняешь ты. Всё заполняешь ты.

Я их все соберу в один браслет бесконечный,
для руки твоей белой, нежной, как виноград.

XVII

Размышляю, сплетаю тени в глубине одиночества.
Ты опять далека. Далека, как никто другой.
Размышляю, птиц выпускаю, рассеиваю наважденья.
И земле предаю фонари.
Колокольня туманов — на недоступных высотах!
Задыхаюсь от плача, тень надежды растираю во прах:
молчаливый мельник,
ночь настигнет тебя ничком в безлюдной глуши.

Мне чужда твоя близость: она слишком похожа на вещи.
Я шагаю по долгой дороге, жизнь моя — прежде тебя.
Жизнь моя — прежде всего на свете. Моя терпкая жизнь.
К морю свой крик обращаю. Вокруг — только камни.
Бегу, как вольный безумец, прямо в испарину моря.
Скорбная ярость и крик, одиночество моря.
Надменностью и бесстыдством я возношусь до небес.

Женщина, кем ты была? Была ты лучом и спицей
бесконечного веера. Была далека, как сейчас.
Лес, объятый пожаром! Распяты в огненных нимбах.
Пиршество пламени. Треск огня. Световые деревья.
Разрушение и гибель. Всюду пожар. Пожар.

И душа моя пляшет среди огненных стружек.
Кто зовёт меня? Кто заселяет отзвуками тишину?
Это — час ностальгии, час радости, час одиночества.
Это — мой единственный час!
Рупор, в котором поёт пробегающий ветер.
Стонущей страстью исхлѣстано тело моё.

Сотрясенье корней,
волн нескончаемый натиск!
Моя душа бесконечно кружится, ликует, скорбит.

Размышляю, земле предаю фонари в глубине одиночества.
Кто же ты? Кто же ты?

XX

Этой ночью я могу написать самые грустные строки.

Написать, например: «Вызвездило тёмное небо,
И синие звёзды дрожат в небесной дали».

Ветер кружит в ночных небесах и поёт.

Этой ночью я могу написать самые грустные строки.
Я любил её, и порой она меня тоже любила.

В такие же ночи, как эта, я её обнимал.
Сколько раз я её целовал под бесконечным небом.

Она любила меня, и порой я любил её тоже.
Да и как было не любить огромные эти глаза?

Этой ночью я могу написать самые грустные строки.
Думать, что она не со мной. Ощутить — я её потерял.

Теперь я могу услышать, насколько безмерна ночь.
И строки падают в душу, как роса на луга.

Ну и что с того, раз моя любовь сберечь её не сумела?
Вызвездило тёмное небо, но она не со мной.

Вот и всё. Вдали кто-то поёт. Вдали.
Моя душа не может смириться с этой потерей.

Взгляд мой ищет её, чтобы быть с нею рядом.
Сердце моё ищет её, но она не со мной.

Та же ночь, и во мгле белеют те же деревья.
Только мы стали другими, и прежними нам не стать.

Я разлюбил её, верно, но как я любил её прежде.
Голос мой ветра искал, чтобы слуха коснуться её.

С другим. Она будет с другим. А ведь я целовал её прежде.
Голос её, ясное тело её, взгляд бесконечный её.

Я разлюбил её, верно, и всё же люблю до сих пор.
Так быстротечна любовь, так безмерно забвеньё.

Ведь в такие же ночи, как эта, я её обнимал.
Моя душа не может смириться с этой потерей.

Даже если это последняя боль, которой она меня ранит,
И если это последние строки, которые я ей пишу.

Резиденция на Земле – I (1925–31)

МИР ТЕНЕЙ

В каждом из этих дней, чёрных, как старые цепи,
и опалённых солнцем, подобно огромным рыжим быкам,
едва находящих себе опору в воздухе и сновидениях
и исчезающих так внезапно и непоправимо,
ничто не пришло на смену моим смятённым рожденьям,
и неравные средние, что кружат в моём сердце,
выкованы из чистой материи этих дней и ночей
и объемлют собой беспорядок печальных количеств.

И вот я стою здесь, слепой и бесчувственный страж,
недоверчивый, приговорённый к этому скорбному бдению,
перед стеной, по которой течёт каждодневное время,
и мои различные лица проходят одно за другим,
как большие цветы, бледные и тяжёлые,
непрестанно меняющиеся и неживые.

СОНАТА И РАЗРУШЕНИЯ

После всего, что было: после долгих пространств,
смутных владений, неизвестно чьих территорий,
неверных компаний и сомнительных слов, —
я люблю упрямяство, уцелевшее в моём взгляде,
я слышу, как гремят в моём сердце шаги командора,
я вгрызаюсь в спящий огонь и соляные руины,
и в ночной атмосфере, в глубокой тоске,
что мерцает, словно свеча, за оградой разбитого лагеря,
странник, оснащённый стерильным оружием,
я стою посреди растущих теней и трепетных крыльев,
я знаю то, что я есть, и защищаю себя тяжёлой десницей.

Меж научных рыданий высится смутный алтарь,
и в моём собрании выхолощенных закатов,
в заброшенных спальнях, где поселились луна,
пауки моего зверинца и возлюбленные разрушения,
я восхищаюсь своей утраченной сутью, своей неясной материей,
позументами из серебра, моей извечной потерей.
Сырая лоза возгорелась, и её погребальные воды
продолжают мерцать, и до сих пор остаются
моим стерильным уделом и неверным жилищем.

Кто избрёл эту пепельную церемонию?
Кто возлюбил утраты, кто решился хранить останки?
Мощи отца, разбитые доски мёртвого корабля,
свой печальный конец и такое же бегство,
усилие скорби и отвергнутое божество?

Да, это я стою на страже бессилия и болезни,
и чужое свидетельство, которое я поддержал
преступным содействием и пепельным росчерком, —
это самая лучшая форма забвения,
это имя, которым я нарекаю землю, это суть моих снов,
это бесконечное множество, которое я разделяю на части
ледяными глазами зимы, в каждый день этого мира.

НОЧЬ СОЛДАТА

Моими трудами создаётся ночь солдата, время для человека, которому неведомы уныние и опустошённость, кто смотрит вдаль, через океан и ещё одну волну, кто не знает горькой воды разъединения и шагает навстречу старости, постепенно и бесстрашно, связав себя определённым укладом, без катаклизмов, без витания в облаках, обживая свою кожу и свою одежду, самую что ни на есть невзрачную. Потому-то я и имею дело с туповатыми и жизнерадостными придурками, которые курят, плюют куда попало и жутко пьют, а потом внезапно падают, заболевшие смертью. И в самом деле, где они — тётка, невеста, свекровь, свояченица солдата? Они умирают в изгнании или от малярии, становятся холодными, жёлтыми, и отбывают на ледяную звезду, на высохшую планету, чтобы найти там последнее отдохновение среди юных девушек и мороженых фруктов, и их трупы, их жалкие горящие трупы уходят спать под присмотром алебастровых ангелов, подальше от пламени и от пепла.

И с каждым новым днём, с его закатным обещанием гибели, я хожу туда-сюда, несу бесполезную стражу, мимо мусульманских торговцев, мимо людей, почитающих корову и кобру, сам никем не почитаемый, с неприметным лицом. Месяцы идут своей чередой, и иногда идёт дождь: от жары небо выделяет беззвучную жидкость, похожую на пот, и над большими растениями, над спинами диких животных, в полной тишине переплетаются и вытягиваются эти влажные перья. Ночные воды, слёзы старого Муссона, солёная слюна, похожая на лошадиную пену, медленно нарастающая, с жалкими брызгами, прекращающаяся внезапно.

Но где же профессиональная любознательность, где попранная нежность, только в покое открывающая свой просвет, где это сияющее сознание, одевающее меня в мерцающий ультрафиолет? Затаив сыновнее дыхание, я погружаюсь в сердцевину обязательного метода, в напряжённое физическое спокойствие, возникшее из совокупности повседневной пищи и возраста, без ненавистных одежд и золотой кожи. Часы одного времени года кружатся у моих ног, и перемена дневных и ночных форм почти всегда замедляется рядом со мной.

В эту пору я навещаю девушек с юными бёдрами и глазами, в волосах этих существ жёлтый цветок сверкает, как молния. Они носят кольца на пальцах обеих ног, браслеты и обручи на лодыжках и цветные ожерелья, я снимаю их и разглядываю, ведь я люблю замирать в восторге перед непрерывным и кротким телом, не давая себе снять напряжение поцелуем. Я взвешиваю на руках каждую новую статуэтку, я беззвучно утоляю мою мужскую жажду её животворной помощью. Вытянувшись, я рассматриваю снизу это мимолётное создание, восходя по её обнажённой сути до самой улыбки: гигантская и треугольная кверху, она возносит в воздух свои округлые груди, которые, как две огромные масляные лампы, притягивают мой взгляд своим белым светом и сладостной энергией. Я вверяю себя её смуглой звезде, жару её кожи, и вот она лежит неподвижно, прижатая моей грудью, как поверженный противник, с тяжёлыми ослабевшими членами, в беззащитном волнении: или кружится, как бледное колесо, разделившись на крылья и пальцы, быстрая, глубокая, центробежная, как беспорядочная звезда.

Горе всякой минувшей ночи, ведь есть в ней что-то от покинутой жаровни, растроченной и выброшенной на свалку, среди похоронных принадлежностей. Я каждый раз присутствую при этом финале, облачённый бесполезным оружием, исполненный разрушенных возражений. Я охраняю одежду и кости, пропитанные этой полуночной материей: я связан с этим преходящим прахом, и бог перемен тоже бодрствует рядом со мной, тяжело дыша, с обнажённым мечом.

ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ СООБЩЕНИЯ

В те дни моё пророческое чувство сбилось с курса, собиратели почтовых марок засиживались допоздна в моём доме, перебирая мои письма, отдирая от них свежие поцелуи, подчинённые долговому пребыванию на море, и талисманы, оберегавшие мою удачу с помощью женской науки и защитной каллиграфии.

Я жил рядом с другими домами, другими людьми и деревьями, устремлёнными к грандиозному, рядом с шатрами страстного суесловия, выступающими корнями, опахалами листьев, стройными кокосовыми пальмами, я расхаживал среди этой зелёной пены в своей остроконечной шляпе и со своим всецело вымышленным сердцем, сиятельной поступью, ведь в то время как моё могущество слабело и рассыпалось в прах, стремясь к кладбищенской симметрии, известные места, отвергнутые к этому часу, и лица, прораставшие в моей заброшенности с растительной неспешностью, менялись вокруг меня с тихим ужасом, словно охапки листьев, которыми внезапно швыряется осень.

Попугаи, звёзды, а ещё — солнечный официоз и резкая сырость привели к тому, что во мне зародился самоуглублённый вкус к земле и многочисленным земным предметам, и удовлетворение старым домом с его летучими мышами, и нежность к женщине, обнажённой до кончиков ногтей, они расположились во мне, словно слабое, но настойчивое оружие моих стыдливых способностей, и меланхолия оставила свои складки на моей ткани, а письмо любви, бледное от бумаги и страха, умыкнуло своего дрожащего паука, который ткёт, тут же распускает и снова ткёт. И естественно, от лунного света, который струится окрест и дальше, от его холодной сердцевины,

которую птицы (ласточки, гуси) не могут уничтожить в своём перелётном безумии, от его голубой кожи, гладкой, тонкой и лишённой прикрас, я впадаю в отчаяние, как от удара обнажённой шпаги. Во мне течёт особая кровь, и эта субстанция, разом морская и ночная, заставляет меня изменяться, и поднебесные воды истощают мою энергию и мои наличные средства.

Таким вот достопамятным образом мои кости возобладали над моими стремлениями: покой, особняки на морском берегу влекут меня пусть и не твёрдо, но необоримо, и, однажды прибыв в крепость, окружённый немым и недвижимым хором, подчинившись грядущему часу и его ароматам, несправедливый к нестрогой географии, смертный приверженец цементного кресла, я коротаю время, и воинственная рапира моих авантюр запятнана позабытой кровью.

ОБЕЗЛЮДЕВШИЙ

Необоримое время! По краям небосвода скапливается бледный северный ветер, выцветший и грабительский воздух, насколько хватит глаз, как сгущённое молоко, как отвердевший занавес, непрерывно.

Так бытие ощущает своё одиночество, покорённое этой чуждой субстанцией, влекомое приблизившимся небом, с разбитой мачтой перед белёсым берегом, лишившись твёрдой опоры, перед непроницаемым потоком времени, в доме тумана. Ужас и проклятие! Быть израненным и покинутым, или копить скорбь, пауков и побои. Засесть в засаде, пресытившись этим миром, или вращаться среди сфинксов, червонцев и зловещих предзнаменований. Посыпать прахом свою повседневную одежду, или целовать земное начало с его вкусом забвения. Но нет. Нет.

Холодные тёмные массы падающего дождя, тяготы без воскрешения, забвение. В моей спальне без фотографий, в моём беспросветном костюме, столь многое здесь пребудет навеки, и медленный и прямой луч дня сгущается, словно для того, чтобы вызвать к жизни единственную тёмную каплю.

Цепкие движения, вертикальные тропки, порою вспыхивает их последний цветок, нежные или грубые компании, отсутствующие двери! Каждый день я поедаю хлеб бесчувствия, я пью воду одиночества!

Скрипит железо, лошадь идёт на рысях, мокрая от дождя кляча, кучер зашёлся долгим кашлем, как проклятый. Всё прочее, до самых дальних окраин, остаётся недвижимым под июньским пологом, и эта промокшая растительность, эти молчаливые животные соединяются вместе, как волны. И какое зимнее море, какое затонувшее владение попробует выжить и, прикинувшись мёртвым, пересечёт под огромными траурными парусами эту тугую поверхность?

Бывает так, что вечером я подношу светильник к окну и разглядываю себя, подпирая жалкие доски, распростёршись в этой сырости, как ветхий гроб среди непрочных стен. Мой сон — от одного небытия до другого, и до другого расстояния, восприимчивый и горький.

НОЧНЫЕ УСТАНОВЛЕНИЯ

Я с трудом взываю к реальности, словно пёс, и так же вою. Всей своей душой я хотел бы наладить диалог рыцаря и перевозчика, раскрасить жирафа, поведать об аккордеонах, восхвалить мою нагую музу, крепко обвившуюся вокруг моей поясницы и почившую на ней. Вот моя поясница и моё тело вообще, вот бессонная и долгая борьба, обращённая к моим почкам.

О, Боже, сколько лягушек населяет эту ночь, они свистят и хрипят глотками сорокалетних человеческих существ, и сколь тонка и звёздна эта кривая, охватившая меня до самой дальней дали! Как зарыдали бы на моём месте итальянские певцы, доктора астрономии, окружённые этой чёрной зарёй, пронзённые в самое сердце этой отточенной шпагой.

А затем эта сгущённость, это единство ночных элементов, это допущение, которое находится позади каждой вещи, и этот холод, столь ясно распространяемый звёздами.

Проклятие всему мёртвому и незрячему, всему израненному алкоголем и несчастьем, и хвала труженику ночи, умному созерцателю, каким я и являюсь, до сих пор живому обожателю небес.

ЮНЫЙ МОНАРХ

Будто бы продолжая прочитанное и предвещая следующую страницу, я должен пойти за своей звездой на территорию любви.

Родина в объятиях двух больших пылких рук, долгая параллельная страсть и золотые червонцы, защищённые математическими расчётами полководческой науки. Да, я хочу взять в жёны самую красивую девушку Мандалая, хочу вверить мою земную оболочку этой суете, которую женщина создаёт на кухне, этому мельтешению юбки и босых ног, которые сплетаются в своём движении, как ветер и листья.

Любовь девочки с маленькими ступнями и длинной сигарой, с янтарными цветами в строгой цилиндрической причёске, с опасной походкой, словно ирис с его тяжёлым и плотным бутоном.

И моя супруга вблизи от меня, рядом с молвой обо мне, идущей издалека, моя бирманская супруга, дочь короля.

Я целую её собранные чёрные волосы, её сладостные и вечные ступни: близится ночь, освобождая свою мельницу, и я слушаю, как рычит мой тигр, и лью слёзы о том, чего нет.

ПОГРЕБЕНИЕ НА ВОСТОКЕ

Я работаю ночью, а вокруг меня город
рыбаков, гончаров и покойников, их сжигают
вместе с шафраном и фруктами, завёрнутых в алый муслин:
под моим балконом эти ужасные мертвецы
проплывают под звуки цепей и медных флейт,
под надрывные, нежные, заунывные звуки,

среди роскошных цветов, налитых ядом,
под крики пепельных танцовщиков,
под монотонные удары тамтама,
в дыму пахучих и жарких дров.
Они опять уходят этой дорогой, этой бурной рекой,
их сердца остановились на миг в великом движении
и обжариваются на костре из лодыжек и пяток,
этот трепетный пепел падает в воду
и плывёт, как ветка обгорелых цветов,
как угасший огонь, оставленный всемогущими странниками,
которые что-то возжигают над чёрными водами и пожирают
исчезающее дыхание и окрестную влагу.

Резиденция на Земле – II (1931–35)

ОДНА ТОЛЬКО СМЕРТЬ

Вот одинокие кладбища,
вот могилы, полные беззвучных костей,
и сердце бредёт по тоннелю
во мраке, во мраке, во мраке,
корабль захлестнуло волной, и мы умираем,
задыхаясь сердцем,
душой выпадая из кожи.

Вот мертвецы,
вот холодные липкие плиты,
вот смерть, что встаёт на костях —
как чистый звук,
как лай без собаки,
она выходит из этих могил, из колокольных ударов,
она прорастает из влаги, словно плач или дождь.

Порой я видел,
как в гробах под парусами
уплывают бледные мертвецы, женщины с мёртвыми косами,
хлебопёки — белые, словно ангелы,
задумчивые девочки, обручённые с адвокатами;
гробы уходят вверх вертикальными реками смерти,
фиолетовыми реками,
всё выше и выше, их паруса полнятся звуками
смерти,
они наполняются неслышными звуками смерти.

Смерть приходит ко всему, что звучит,
как безногий ботинок, как безрукий пиджак,
она наносит удары перстнем без камня и пальца,
она кричит — безустая, безъязыкая,
лишённая глотки,
И раздаются звуки её шагов,
звук её одеяний, молчаливый, как дерево.

Я не знаю, я не знаком, едва ли я видел,
и всё же я верю, что песня её — цвета влажных фиалок,
фиалок, привычных к земле,
ибо зелен лик её,

словно острая влажность листа фиалки,
словно грузный цвет свирепой зимы.

Смерть шагает по миру в одеянии подметальщицы,
облизывает землю в поисках трупов;
смерть-подметальщица,
и её язык стелется в поисках мертвецов,
и её игла рыщет в поисках нити.

Смерть разлеглась на койках,
на неторопливых кушетках, на чёрных одеялах;
она внезапно потягивается и дует:
тёмные звуки её дыхания полнят собой простыни,
и кровати отправляются в порт,
а она поджидает их там, одетая в адмиральскую форму.

WALKING AROUND

Так случилось, что я устал быть человеком.
Я захожу в магазины модной одежды, в ночные клубы,
скорбный, непроницаемый, словно фетровый лебедь,
медленно плывущий по водам рожденья и смерти.

Я готов рыдать от запаха парикмахерской.
Я хочу заснуть — всё равно, под камнями или под ватой.
Меня тошнит от пластиковых бутылок,
от новых книг, от компьютеров, от автомобилей.

Так случилось: мне надоели мои ногти и волосы,
мои ступни, моя тень.
так случилось, что я устал быть человеком.

Надо признаться, это было бы так упоительно —
напугать какого-нибудь адвоката срезанной лилией,
или убить монашку ударом в ухо.
Было бы так замечательно
расхаживать по улицам с зелёным ножом,
и орать во всю глотку, умирая от холода.

Я совсем не хочу быть корнем в потёмках,
тощим, нерешительным, вздрагивающим во сне,
уныло ползущим сквозь мокрую глину,
впитывающим и размышляющим, жадным до пищи.

Меня доконали мои неудачи.
Мне надоело жить среди корней и могил,

всегда под землёй, в душном погребѣ с мертвецами,
окоченевшим, умирающим от тоски.

И вот понедельник пылает, как лужа бензина,
когда я выхожу на прогулку, с лицом арестанта,
он взвизгивает на ходу, как проколотое колесо,
и оставляет в ночи свой кровавый след.

Он толкает меня в углы, в сырые квартиры,
в больницы, где торчат из окна чьи-то кости,
в сапожные мастерские, пропахшие уксусом,
в гнусные щели улиц, забитые мусором.

Вот птицы серного цвета, и мерзкая требуха
висит на подъездах ненавистных домов,
вот вставная челюсть, забытая в кафетерии,
вот зеркала,
что не могут не плакать от срама и страха,
и повсюду — зонты, пуповина, отравы.

Я гуляю, спокойный, у меня есть глаза и ботинки,
у меня есть ненависть и забвение;
я прохожу сквозь офисы, сквозь врачебные кабинеты,
сквозь дворы, в которых сохнет бельѣ на верѣвках:
полотенца, кальсоны, рубашки, с которых стекают
долгие мутные слѣзы.

АЛЬБЕРТО РОХАС ХИМЕНЕС ПРОЛЕТАЕТ

Среди скрипящих перьев, среди ночей,
среди магнолий и среди телеграмм,
между ветром Юга и западным бризом,
ты пролетаешь.

Ниже могил, ниже глины и праха,
ниже оцепеневших морских ракушек,
ниже глубинных подземных вод,
ты пролетаешь.

На самом дне, среди утонувших детей,
среди слепых растений и мѣртвых рыб,
на самом дне — и опять среди облаков,
ты пролетаешь.

Вдали от крови, вдали от костей,
вдали от хлеба, вдали от вина,
вдали от огня,
ты пролетаешь.

Вдали от укуса и от смерти,
среди гниения и фиалок,
с небесным голосом, в сырых ботинках,
ты пролетаешь.

Над делегациями и аптеками,
над колёсами, адвокатами, кораблями,
над только что вырванными зубами,
ты пролетаешь.

Над городами с затонувшими крышами,
где огромные женщины по вечерам
расплетают косы ущербными гребнями,
ты пролетаешь.

Вблизи от погребов, где в тишине,
в мутных тёплых ладонях бродит вино,
в медленных ладонях тёмного дерева,
ты пролетаешь.

Среди пропавших авиаторов,
рядом с каналами и тенями,
рядом с закрытыми кувшинками,
ты пролетаешь.

Сквозь бутылки горького цвета,
сквозь кольца аниса и неудачи,
воздевши руки и стеная,
ты пролетаешь.

Над зубными врачами и конгрегациями,
над кинотеатрами и ушными раковинами,
в новом костюме, с погасшим взором,
ты пролетаешь.

Над твоим безбрежным кладбищем
с заблудившимися моряками,
покуда льётся дождь твоей смерти,
ты пролетаешь.

Покуда льется дождь твоих пальцев,
покуда льётся дождь твоих костей,

твоего костного мозга и улыбки,
ты пролетаешь.

Над камнями, на которых ты таешь
и стекаешь, — ниже зимы, ниже времени,
покуда сердце не расточится по каплям,
ты пролетаешь.

Но ты не здесь, окружённый цементом,
чёрными сердцами нотариусов
и возмущёнными костями всадников:
ты пролетаешь.

О, мой собрат и морской цветок,
о, гитарист в одеянье из пчёл,
во тьме волос твоих нет ни грана истины:
ты пролетаешь.

Нет истины во тьме за твоей спиной,
нет истины в этих мёртвых ласточках
и в этом сумрачном царстве скорби:
ты пролетаешь.

Чёрный ветер Вальпараисо
расправил крылья угля и пены
и заслонил небеса, по которым
ты пролетаешь.

Промозглый холод мёртвого моря,
гудки пароходов, столы и запах
дождливого утра и тухлой рыбы:
ты пролетаешь.

Стопка рома, ты и я, душа моя плачет,
никого, ничего, одна только лестница
с разбитыми ступеньками, и зонт:
ты пролетаешь.

Это море. Спустилась ночь, и я слышу,
как ты одиноко пролетаешь над морем,
над тёмным морем моей души:
ты пролетаешь.

Я слышу мерный звук твоих крыльев,
и воды мёртвых стучат в моё сердце,
как слепые мокрые голуби:
ты пролетаешь.

Ты пролетаешь, совсем один,
один среди мёртвых, один навеки,
ты пролетаешь без тени, без имени,
без слащавости, без слов и без роз:
ты пролетаешь.

Оды простым вещам (1954)

ОДА ЧЕЛОВЕКУ В ЛАБОРАТОРИИ

Вот человек,
неприметный с виду,
он глядит
одним своим глазом
деятельного циклопа
на мельчайшие вещи,
на кровь,
на капли воды,
он глядит
и записывает или диктует,
а там, в этой капле,
вращается целый мир,
млечный путь дрожит,
как маленькая река,
человек
глядит
и замечает
в крови
маленькие красные точки,
мятущиеся
планеты,
или вторжение
достославного белого войска,
человек
своим глазом
всё видит,
всё замечает,
там, в этой капле, заперт
вулкан нашей жизни,
сперма
с её титрованным небосводом,
трепет
мгновенных
сокровищ,
мужское семя;
рядом
в бледном круге
капля

мочи
приоткрывает янтарные страны,
или плоть твоя —
горы аметиста,
трепетные лужайки,
зеленеющие созвездия;
а он
всё отмечает, всё записывает,
и внезапно обнаруживает
угрозу,
отдельную
точку,
чёрный нимб,
он опознаёт его, заглядывает
в свой справочник,
и уже не теряет из виду,
скоро
в твоём теле начнётся охота,
развернётся битва
прямо на глазах
человека из лаборатории;
тёмной ночью холодная смерть
приблизится к матери,
крылья незримого страха
коснутся ребёнка,
вспыхнет битва в развёрстой ране,
и всё —
в присутствии
этого человека
и его одинокого глаза,
который искал
злую звезду
на кровавом
небе.
Там, в белом халате,
он продолжает
разыскивать
знак,
число,
цвет
смерти
или жизни,
дешифруя
строение

боли, раскрывая
симптомы лихорадки
или первый признак
появления человека.
Где-то рядом с тобой —
неизвестный
путешественник
в полумаске,
объявивший о том,
что ему повстречалось
в твоих венах,
на Севере или на Юге
твоих внутренностей,
суровый
человек со своим глазом,
он берёт шляпу,
надевает её,
зажигает сигарету
и выходит на улицу,
останавливается на мгновение
а потом опять шагает по тротуарам,
присоединяется к людской толпе,
и наконец скрывается из виду,
словно дракон,
маленькое вёрткое чудовище,
что осталось позабытым в одной
капле
в лаборатории.

ОДА КРИТИКЕ

Я написал пять стихов:
один зелёный,
другой — как булка круглого хлеба,
третий — построенный дом,
четвёртый — в форме кольца,
а пятый стих был
коротким, как вспышка молнии,
и когда я его написал,
в моём уме ещё долго гремели раскаты грома.

А потом мужчины
и женщины
приходили и щупали

эту простую материю,
обрывки, ветер, свечение, дерево, глину,
и из этих невзрачных вещей
возводили
стены, крыши и сны.
На строках моих стихов
сохло бельё на ветру.
Они питались моими словами,
держали их
у изголовья,
они жили со стихотворением,
как с лучом маяка на моём берегу.
И тотчас же
появился немой критик,
и другой, исполненный слов,
и ещё другие, слепые
и исполненные очей,
некоторые — эlegantные,
словно гвоздики в красных штиблетах,
другие —
в похоронных костюмах,
одни — приверженцы
его величества короля,
другие
запутались в шевелюре Маркса
и дрыгали ножками в его бороде,
третьи были англичанами,
вылитыми англичанами,
и все они то и дело
бросались друг на друга
со своими зубами, кинжалами,
словарями и другим чёрным оружием;
они бряцали цитатами,
они набрасывались
на этих простых людей,
чтобы отнять у них мою поэзию,
которую те так любили:
они плели против неё интриги,
сворачивали её в рулоны,
втыкали в неё сотни булавок,
посыпали её прахом скелетов,
наводняли её чернилами,
оплёвывали её с умильной
кошачьей нежностью,

отправляли её завести часы,
защищали её и осуждали,
лишали её бензина,
посвящали ей сырые трактаты,
кипятили её с молоком,
прилаживали к ней свои побрякушки,
вычёркивали гласные,
уничтожали
согласные и целые слоги,
комкали её или запечатывали
в маленькие конверты,
и аккуратно прятали их
на свои чердаки, в свои склепы,
а потом
уходили один за другим,
одни — взбесившиеся до безумия,
потому что я не был для них
достаточно популярным,
другие — напоенные сладким презрением
к моей обычной нехватке темнот,
и когда они все
уходили,
тогда
опять
вместе с моей поэзией
возвращались к жизни
мужчины и женщины,
снова
разводили огонь,
возводили дома,
ели хлеб,
собирались у очага,
и в единой любви соединялись
молния и кольцо.
А теперь
простите меня, сеньоры,
за то, что я прервал свой рассказ,
за то, что я расквитался с вами
и ушёл навсегда,
чтобы жить
вместе с простыми людьми.

Новые оды простым вещам (1955)

ОДА ЧИСЛАМ

Какая жажда
знать — сколько!
Какой голод
знать —
сколько
звёзд на небе!

В детстве
мы считаем
камни, деревья,
пальцы, песчинки, зубы,
в юности пересчитываем
волосы и лепестки.
Считаем
цвета и годы,
жизни и поцелуи,
в поле —
быков, в море —
волны. Корабли
оплодотворяют их цифрами.
Числа плодятся.
Города
были тысячами и миллионами,
стали пшеничным ворохом сотен
единиц, внутри которых —
другие числа,
мельчайшие,
много меньшие, чем зерно.
Время стало числом.
Свет был исчислен,
и как бы теперь он ни мчался
наперегонки со звуком,
скорость его равна 37.
Нас окружили числа.
Мы заперали двери,
ночью, в изнеможении,
однако 800
поднимались из глубины,
чтобы встретиться с нами в кровати,

а во сне
4000 и 77
буравили нашу черепную коробку
своими свёрлами и молотками.
А эти 5
объединились,
чтобы броситься в море или безумие,
чтобы солнце полыхало своим нулём
и мы неслись, как угорелые,
в свою контору,
в мастерскую,
на фабрику,
снова и снова начинать
бесконечную каждодневную 1.

Дружище,
ведь у нас было достаточно времени
напоить нашу жажду,
наше давешнее стремление
исчислить все вещи,
сложить их
и сократить,
истолочь в порошок,
превратить их в горы песка.
Мы обвернули мир
листами бумаги
с числами и именами,
и всё же вещи
продолжали существовать,
ускользая от счёта,
обезумев в своих количествах,
испаряясь,
оставляя
один лишь запах, память
и пустые ячейки чисел.

Но если так,
я люблю эти вещи
ради тебя.
Пусть числа
уходят в свою казарму,
маршируют
сомкнутыми колоннами,
пусть они продолжают свой род,
чтобы выдать нам полную сумму

всей бесконечности.
Ну а я хочу одного —
чтобы эти
грядущие числа
смогли тебя защитить,
и чтобы ты защитил их.
Чтобы твоей недельной зарплаты
хватало на то, чтобы прикрыть твою грудь.
И чтобы 2, соединившая
два тела — твоё и любимой,
вновь появилась в глазах ваших детей,
чтобы снова пересчитать
древние звёзды
и бесчисленные
колосья,
покрывшие преображённую землю.

Эстрадагарио (1958)

ЛЕНТЯЙ

Металлические предметы
будут летать между звёздами,
измождённые люди
надругаются над белизной луны
и понастроят на ней аптеки.

А в это время винограда
начинает бродить вино
между морем и кордильерами.

В Чили танцуют черешни,
поют смуглолицые девушки
и сверкает вода в гитарах.

Солнце освещает каждую дверь
и творит чудеса с пшеницей.

Первое вино — розовое,
сладкое, как нежность ребёнка,
второе вино — крепкое,
словно хриплый голос матроса,
а третье вино — это топаз,
это мак и пламя пожара.

Дом мой полон земли и моря,
большие глаза моей жены
цветом схожи с лесным орехом,
море с наступлением ночи
оделось в белизну и зелень,
и луна в прибрежной пене
дремлет, как морская невеста.

Я планету менять не хочу.

Плавания и возвращения (1959)

ОДА ВЕЩАМ

В вещи я влюблён
до безумия.
Мне нравятся ножницы,
клещи,
я восхищаюсь
чашками,
кольцами,
мисками,
не говоря уж
о шляпках.

Я влюблён
в каждую вещь
без исключения,
и не только
в какие-то особенные,
но и в любые другие,
в бесконечно
малые:
напёрсток,
шпоры,
тарелки,
цветочные вазы.

О, душа моя,
как прекрасна
планета,
на которой хватает в избытке
курительных трубок,
по которым
струится
дымок,
ключей
и солонок,
в конце концов —
всего, что создано
рукой человека:
вот остроносые туфли,
вязанный шарф,

новое и бескровное
рождение
золота,
очки,
ключи,
метёлки,
часы и компас,
монеты, нежная
нежность стульев.

Сколько чудесных
вещей
создано
человеком:
из шерсти,
из дерева,
из стекла,
из пеньки;
удивительные
столы,
лестницы, корабли.

Я люблю
все вещи
вовсе не потому,
что они жарки
или благоуханны,
но по какой-то иной
неизвестной причине,
ведь весь этот
океан принадлежит и мне,
и тебе:
пуговицы,
колёса,
маленькие
забытые сокровища,
веер,
опахало которого
вызывало любовное головокружение
своими апельсиновыми цветами,
рюмки, ножи,
ножницы, —
у каждой из этих вещей
на ножке, на рукоятке
остался след

пальцев,
далёкой
руки,
забытой в глубинах забвения.

Я шагаю по улицам,
захожу в дома
и лифты,
прикасаюсь к вещам
и тайно их
домогаюсь:
эту — потому что она так звонка,
эту — ведь она
нежнее бедра,
эту — за цвет глубокой воды,
эту — за бархатную густоту.

О, неизбывная
река
вещей,
не та,
что любезна
одним только рыбам
или лесным деревьям и травам лужаек,
не та, что любезна
лишь тому,
что скачет, живёт, плодоносит и дышит.
Вовсе не так:
разнообразные вещи
мне поведали всё.
И они не только касались моей руки
(или их касалась моя рука),
но сопровождали
самое моё существо,
существуя вместе со мной,
и были для меня настолько насущными,
что жили со мной, покуда я жил,
и умрут со мной, когда я умру.

Камни Чили (1961)

Я ВЕРНУСЬ

Мужчина или женщина, прохожий,
когда-нибудь, когда меня не станет,
ты здесь меня попробуй отыскать,
здесь, посреди прибоя и камней,
в кипящем свете
океанской пены.

Ты здесь меня попробуй отыскать,
и я вернусь сюда, вернусь без слов,
без голоса, без губ, без ничего,
вернусь и стану
струями воды,
ударами безудержного сердца.
Здесь потеряюсь я и отыщусь,
и снова стану камнем и молчанием.

Ритуальные песни (1961)

МЫ НАПРАСНО ТЕБЯ ИСКАЛИ

Нет, твой ясный облик никто уже не вернёт,
жар твоих песков никогда не воскреснет,
губы твои не раскроют двойных лепестков,
груди твои не наполнят белизны одеяний.

Одиночество расточает тину, соль, тишину,
твой силуэт давно поглотился песками,
твоя лесная талия затерялась в пространствах,
одинокая, скрытая от всевластного всадника,
скачущего сквозь огонь навстречу смерти.

Руки дня (1968)

НЕ ВСЁ В ЭТОМ ДНЕ —
ОТ ДНЯ СЕГОДНЯШНЕГО

В этом дне осталось что-то
от дня вчерашнего:
осколок чаши или обрывок знамени,
или простое понятие о свете,
водоросль ночного водоёма,
нерастроченная сила, золотой воздух;
и уже завершившись, оно продолжало
струиться, умирая от стрел
нестерпимого солнца.

Ведь если бы вчерашний день
не продолжался
в ослепительной самодостаточности
нашего сегодняшнего дня,
зачем бы он тогда чудесной чайкой
кружился позади,
пытаясь слить свою лазурь
с исчезнувшей лазурью?

Я отвечаю.
Это в глубинах света
кружит твоя душа,
то умаляясь — до исчезновения,
то нарастая — колокольным гулом.

А между смертью и возрождением
нет никакого
промежутка, и даже нет определённой
границы.
Свет замыкается в кольцо,
и мы вошли в его движение.

Конец света (1969)

ВЕТЕР

Нет ничего — один лишь ветер
с далёких гор, зелёный запах
земли, холодное журчанье
воды в каналах, безмятежность
пространства, и огромный свет
пронзает мировую крону.

Но если так, то мне придётся
сюда вернуться, чтобы снова
встречать себя — везде и всюду,
встречать себя — и ни на миг
не расставаться, а когда
взойдёт луна, свистеть от счастья,
и попирать ногами землю,
где можно жить без всякой цели,
где нет семьи, кроме дороги.

Камни неба (1970)

I

Чтобы земля стала твердью,
её нагрозили камнями:
но внезапно
у камней
прорезались
крылья:
те, кто при этом выжил,
молниеносно
вспорхнули в ночи
с победным кличем:
водяным знаком,
фиолетовой шпагой,
метеором.

Сочное небо —
это не только пространство
с запахом кислорода
и облаками,
но ещё и камень земли,
сверкающий, здесь и там,
он стал голубкой
и колоколом,
стал огромным
всепроницающим ветром:
светлой стрелой, солью небес.

IV

Когда всё было высью,
высью,
высью,
там, в высоте, ждал холодный
изумруд, изумрудный взгляд:
это был глаз,
он смотрел
и был центром небес,
зрачком пустоты;
изумрудный

зрачок:
единственный, твёрдый, бесконечно зелёный,
словно глаз
океана,
недвижное водное око,
капелька Бога, победа
холода, изумрудная башня.

VI

Я искал каплю воды,
каплю мёда и крови:
всё превратилось в камень,
в чистый камень:
слеза и дождевка, вода
обращаются в камень,
мёд и кровь
стали агатом.
Река разбивает на части
свой струящийся свет,
вино
падает в чашу,
зажигает нежный огонь
в каменной чаше:
время бежит,
как изломанная река,
и уносит с собой мертвецов
и обломки шелестящих деревьев,
всё устремляется
в сторону твёрдости:
пыль уходит, уходят книги
и осенние листья,
уходит вода: остаётся
каменный отблеск солнца
на твёрдых камнях.

XIX

Тишина сосредоточена
в камне,
её охватили круги
беспокойного мира,
войны, дома и птицы,
города, поезда и чащобы,

волна за волною вторят вопросам моря,
и заря встаёт за зарёю,
а в центре — камень, небесный орех,
чудесный свидетель.

Пыльный камень на дороге
помнит Петра и всех, кто был до него,
помнит воду, в которой он был рождён:
он — немое слово земли,
настоящий безмолвный наследник
изначальной тишины, недвижимого моря,
безлюдных равнин.

Этот камень существовал до рассвета:
он родился к жизни
в музыке быстрой реки.

XXVII

Пройдя через крах,
другое рождение, катастрофу,
тело моей любимой станет
обсидианом, агатом, сапфиром,
станет горьким гранитом
под солёным ветром Антофагасты.
Пусть это лёгкое тело,
его ресницы,
груди, ступни, нежные бёдра,
его широкие губы, его пунцовое слово
выйдет за круг алебастровой кожи:
пусть это мёртвое сердце
поёт, стекая и падая
по камням быстрой реки
вниз к океану.

Бесплодная география (1972)

СТРАНА

Страна, в которой я сегодня живу,
нежна, как осенняя кожица винограда,
время стало молочно-зелёным и фиолетовым;
солнце только что скрылось за горизонтом,
и силуэты нагих деревьев ещё хранят
его предпоследний блеск в своих кронах;
голоса поэтов уносятся вдаль по коврам,
нет ничего, что могло бы ранить твой взор,
всё на свете покорилося этой усаде.

Я обитаю сегодня в спокойных водах
огромных недвижных рек, и мои побережья
выбелены упорством прошедших лет;
давно прекратились все житейские драмы,
войны погребены согласно пакту,
который заключили между собой честь и забвение;
никто не в праве мучить себя и голодать,
всем предстоит войти в золотые чертоги осени.

Зимний сад (1973)

ЗИМНИЙ САД

Пришла зима. И медленные листья,
одетые в молчание и золото,
диктуют мне блистательные строки.

Я — снежная тетрадь,
широкая ладонь или поляна,
застывшая округа,
безмолвное угодье зимней стужи.

Огромный мир шумел своей листвою,
пшеничные созвездья полыхали
в ночи, как красные цветы ожогов,
затем настала осень, и вино
свои на небе начертало знаки:
всё кануло, движенье небосвода
перевернуло чашу лета,
и кочевые облака померкли.

Я буду ждать на траурном балконе,
среди плющей, как бы в далёком детстве,
когда земля свои расправит крылья
над обезлюдевшей моей любовью.
Я знал, что розе суждено упасть,
что нежность персика недолговечна,
но возродится косточка его:
я охмелел, пригубив эту чашу,
и море стало мне мрачнее ночи,
когда румянец обратился в пепел.

Земля лежит сегодня
в спокойном сне, забыв свои вопросы,
расправив шкуру своего молчанья.

Я возвращаюсь к жизни,
завёрнутый в холодный плащ дождя,
в далёкий смутный гул колоколов:
я задолжал безжизненной земле
моих ростков свободу.

ЗОВЁТ ОКЕАН

Я не поехал к морю этим широким летом,
объятый жаром, я не выхожу за пределы
стен, дверей и щелей, окруживших
всякую жизнь, и мою — в том числе.

На каком расстоянии, за каким окном,
на каком полустанке
осталось забытое море и остались мы сами?
Я повернулся спиной к тому, что люблю,
а там продолжается битва
белого и зелёного, камня и молнии.

Так было, ведь кажется, что так и было:
меняется жизнь, и тот, кому пора умирать,
совсем позабыл о былом величии жизни:
эта высокая нота, этот избыток
блеска и ярости, что когда-то тебя ослепляли,
остались где-то в самой далёкой дали.

Нет, я отрекаюсь от неизвестного моря,
мёртвого, окружённого скорбными городами,
от такого моря, чьи волны не убивают,
не напоены солью и звуком:
я люблю своё море, я люблю артиллерию
океана, палящую по берегам,
я люблю этот натиск лазурного разрушения,
эту пену, которой захлебнётся властитель!

Я не уехал к морю этим летом:
я сижу взаперти, в погребении, но на другом
конце тоннеля, в который меня заточили,
я различаю дальний зелёный гром,
звон разбитых бутылок,
шёпот соли и последних страданий.

Это — освободитель. Это — океан,
он ждёт меня там, вдали — откуда я родом.

ЗАТЕРЯВШИЕСЯ В ЛЕСУ

Я — один из тех, кто так и не сумел добраться до леса,
кто был опрокинут наступленьем зимы,
остановлен укусами радужных скарабеев,
или грозными реками, преградившими путь.

Это — лес, это мягкий ковёр листвы, величайшая
мебель деревьев, молчаливые стены крон,
смутные тропы, изгороди, владения,
патриархальный воздух с запахом грусти.

Всё торжественно в диком саду
детства: яблони склонились к воде,
текущей из чёрных снегов, спрятанных в Андах:
пунцовая тёрпкость яблок не знает зубов
человека, только клювы прожорливых птиц;
яблони, изобретатели лесной симметрии,
незаметно наливаются сладостным соком.

В этом сиянье окрест всё становится новым и древним,
в этот храм могут войти только малые мира сего,
а те, что встали поодаль, на расстоянии,
потерпели крушение, и не знают, выживут или нет,
только теперь им будут раскрыты лесные законы.

Море и колокола (1973)

ИЗНАЧАЛЬНОЕ

Час за часом — это не день,
это боль ради боли.
Время не изнашивается,
не сокращается:
море звучит как море,
непрестанно,
земля звучит как земля:
человек в ожидании.
И только
колокол,
там, среди прочих,
хранящий в своей пустоте
неуступчивую тишину,
порой разрывает её, подняв
свой медный язык, волна за волною.

Я столько всего имел,
пока мог ползать по миру на коленях,
а теперь я лежу здесь, нагой,
у меня ничего не осталось,
кроме морского жёсткого полдня
и этого колокола.

Они зовут меня, чтобы я страдал,
и просят меня задержаться.

Звуки уходят в мир,
заполняя пространство.

Море живёт.

И колокола существуют.

ВОЗВРАЩАЯСЬ

Я видел смерть и в анфас и в профиль,
потому и не умираю,
не умею этого делать;
меня искали и не нашли,

и я ухожу при своих,
со своей незавидной судьбой
заблудившегося жеребца
на одиноких пастбищах
юга Южной Америки:
здесь дует железный ветер,
деревья согнулись с рождения,
они должны целовать эту землю,
эту равнину:
затем выпадает снег,
он состоит из тысячи
бесконечных клинков.
Я недавно вернулся
оттуда, куда приду,
из дождичка по четвергам,
я возвратился
со всеми своими колоколами,
мне осталось найти лужайку,
пустить на ней корни
и целовать горькую землю,
как согнутый куст.
Ведь было дано обещание
повиноваться зиме,
позволить ветру подняться
внутри тебя самого,
так, чтобы падал снег
и сливались мгновенье и день,
ветер и прошлое:
надвигается стужа,
и вот мы остались одни
и наконец замолчали.
Спасибо.

* * *

Когда-то давно, в поездке
я обнаружил реку:
она едва ли была младенцем, щенком, жеребёнком,
эта новорожденная река.
Она журчала и плакала
среди камней
в железистых Кордильерах:
умоляющее существо,
посреди одиночества, снегов и небес,

там, далеко, наверху.
Я ощутил себя усталым,
словно старая лошадь,
рядом с этим природным созданием,
начинавшим бежать,
прыгать, расти,
петь своим чистым голосом,
узнавать землю,
камни, направление потока,
течь ночью и днём,
грохотать на перекатах,
закружиться водоворотом,
а потом расправить широкие воды,
сделаться патриархальной и судоходной, —
эта маленькая река,
маленькая и неловкая, как железная рыба,
оставляющая на камнях свою чешую,
серебристые брызги,
река,
издавшая первый плач,
она начинала расти
у меня на глазах.
Там, в горах моей родины,
когда-то давно,
я видел, слышал, касался
того, что родилось:
это биение сердца, этот звук между камней
были тем, что родилось.

* * *

Там ли море? Ладно, пусть будет так.
Дайте мне
большой колокол, с зелёной кожей.
Нет, не этот, другой, с трещиной
в бронзовом рту, и больше не надо
ничего, я хочу остаться наедине
с блистательным морем и колоколом.
Я не хочу ничего говорить,
я хочу изучать тишину.
Я хочу узнать, правда ли я существую.

* * *

Я хочу знать, пойдёте ли вы со мной
туда, где уже не ходят и не говорят, я хочу
знать, сумеем ли мы прийти
к уединению: так, чтобы просто идти
и видеть прозрачный воздух, полосы света,
насущенное море и земные предметы,
но ни о чем не говорить,
не вносить в это дело
никакой колониальной торговли,
никакого обмена
безделушек на тишину.

Я готов заплатить тебе за тишину.
Хорошо: я вручаю тебе свою, но с одним
условием: не пытаться понять друг друга.

* * *

Педро — это «когда» и «как»,
Клара — «кто б сомневался»,
а Роберто — «однако»;
все куда-то шагают с предложениями,
существительными, причастиями,
приобретая их в магазинах,
в конторах, подбирая на улице,
и всякий пытается
нагрузить меня своим грузом,
своим связующим словом,
и спрашивает: «Куда?»
И в самом деле, куда мы идём
со своим незавидным товаром,
нарядившись в слова,
завернувшись в рыбацкие сети?

* * *

Привет, мы говорим
каждый день
каждому встречному,
вручая визитную карточку
чистосердечия
и показной доброты.

Это наш колокольчик, послушайте:
вот они мы, привет!
Слышите, мы существуем.
Привет, привет, привет,
тому и другому, кому же ещё? —
а также кинжалу, отраве
и злобе.
Привет, вы меня не узнали?
Мы одно, и терпеть не можем друг друга,
мы любим друг друга, поскольку различны,
у каждого есть свой нож,
своя особая жалоба,
очарование быть или не быть,
нам бы иметь побольше рук для пожатий,
побольше губ для улыбок:
привет!
уже не осталось времени,
привет!
чтобы хоть что-то понять,
привет!
чтобы заняться самими собой,
если от нас хоть что-то осталось.
Привет!

* * *

Да, подруга, есть время возделывать сад
и время для битвы, каждый день —
цветы и кровь сменяют друг друга:
время тащит нас на аркане —
ухаживать за жасминами
или истекать кровью на тёмной улице:
добродетель и боль разошлись
по холодным углам, по пылающим углям,
и больше нечего выбирать:
пути в небесах,
которыми раньше ходили святые,
ныне заняты специалистами.

А лошадей совсем не осталось.

Герои одеты в лохмотья,
зеркала остаются пустыми,
праздник — это там, где нас нет,

нас на него не приглашают,
а народу в дверях — не протолкнуться.

А посему — вот мой предпоследний приказ,
мой десятый призыв, подруга,
мой колокольный набат:
я обращаюсь к лилиям в нашем саду,
к яблоням, к непреклонным гвоздикам,
к аромату лимонных деревьев,
и лишь затем — к тем, кто уходит на битву.

Наша родина — узенькая полоска,
и на её обнажённом клинке
горит наше нежное знамя.

ГОРОД

Пригороды с гнилыми зубами
и голодными стенами,
пережёвывающими бумажные лохмотья:
нескончаемая помойка,
мёртвый человек
среди зимних мух
и отбросов:
Сантьяго,
глава моей родины,
прильнувшая к огромным горам,
к заснеженным кораблям,
выцветшее наследство
века утончённых сеньор
и кавалеров с белыми эспаньолками,
изящных тростей, серебристых шляп
и перчаток, прикрывавших орлиные когти.

Сантьяго, наше наследие,
грязное, окровавленное, заплёванное,
выцветшее и растерзанное,
таким мы тебя получили
в наследство от прошлых хозяев.

Нам ещё предстоит
отмыть от грязи твоё лицо,
наш город и наше сердце,
проклятое дитя,
вернуть аромат весны,

оживить твою жизнь,
зажечь в тебе новый огонь,
закрыть глаза и вынести твою смерть,
очистить тебя и украсить,
подарить тебе новые руки,
дома для людей, свет и цветы!

* * *

Руки воды стучатся
в каменную калитку
на берегу, посреди песков.
Камень не отвечает.

Никто не откроет. Стучаться —
значит терять воду, терять время.
И всё же — надо стучаться,
удар за ударом,
день за днём, год за годом,
века за веками.
Наконец, происходит нечто.
Камень преобразился.

Вот линия, нежная, словно изгиб груди,
Вот желобок, в котором струится вода,
скала осталась той же и не осталась.
Там, где раньше был неподатливый камень,
Нежность волны приоткрывает земную
дверь.

* * *

Этот разбитый колокол
всё ещё хочет петь:
звонкая медь покрылась
цветом сумрачной сельвы,
цветом воды в лесных озерцах,
цветом полудённой листвы.

Разбитая зелёная бронза
упала ничком
и заснула,
опутанная вьюнками;
блестящее золото бронзы
зацвело лягушачьими пятнами;

влажный воздух побережья
и нежные руки воды
прикоснулись к металлу,
и он зазеленел.

Этот разбитый колокол
приволокли сюда сквозь кусты
моего одичавшего сада;
он укрыл свои шрамы в траве,
никого уже не призывает к себе
его потемневшая чаша,
и только бабочка прикоснулась
к поверженному металлу и улетела,
взмахнув на прощанье
своими жёлтыми крыльями.

* * *

Маленькую зверушку,
поросёнка, пичугу или собачку,
жалкую,
с жёсткими перьями или шерстью,
я слушал сегодня всю ночь,
зябнущую, скулящую.

Долгая ночь
в Исла Негра, огромное море,
весь его грохот, его скобяная мастерская,
его прозрачные стёкла, разбиваемые об утёсы,
его солёные трубы, его сотрясение.

Нить моего сна
латала ночные прорехи,
а в них — жалкий комочек шерсти,
медвежонок или больной ребёнок,
страдающий от удушья или озноба,
тлеющий огонёк боли, скулящий,
в бесконечной океанской ночи,
рядом с чёрной башней молчания,
раненая зверушка,
малюсенькая,
что-то чуть слышно шепчущая
под куполом ночной пустоты,
одинокая.

* * *

Начиная с рассвета, сколько «сейчас»
нужно, чтобы прокормить этот день?
Смертельные вспышки, золотые всплески,
светящиеся центрифуги,
лунные капли, пустулы, аксиомы,
всё сливается
в общем потоке: боль и дыхание,
право и долг:
остаётся ждать, когда этот день
утратит свою чистоту
и расточит свою силу.

В час по чайной ложке
лётся с небес кислота:
таково настоящее этого дня,
таков сегодняшний день.

* * *

Дождь
идёт по песку, стучит по крыше
вечная
тема дождя:
длинные «эль» медленно падают
на страницы
моей бессмертной любви,
насушной соли;
дождь вернулся в твоё родное гнездо
с вязальными иглами прошлого:
всё, что мне нужно сейчас — это белый
лист пространства, это время
зелёных ветвей и цветущих роз;
это толика бесконечной весны,
долгожданной, с открытым небом
и долгожданной бумагой;
когда вернулся дождь,
чтобы с нежной грустью
стучать в окно,
а потом с неистовой яростью
плясать в моём сердце, плясать по крыше,
требуя,
чтобы его впустили,
чтобы ему подали чашу,

а он ещё раз наполнил её своими иглами,
прозрачным временем
и слезами.

ФИНАЛ

Матильда, дни или годы,
в лихорадке, во сне,
здесь или там,
пригвождённый,
с разрушенным позвоночником,
истекающий истинной кровью,
я в который раз просыпался
и опять в забытьи засыпал:
больничные койки, заграничные окна,
служители тайны в белых одеждах,
неловкость движений.

А потом этот путь
и возвращение к морю:
твоя голова у моего изголовья,

твои руки летят
на свет, на мой свет,
над моей землёй.

А было так славно жить,
когда мы и вправду жили!

Мир становится таким голубым и земным
по ночам, когда я, огромный,
тихо сплю в кольце твоих кротких рук.

Переводы Андрея Щетникова